Н. С. Автономова [ab]
ORCID: 0000-0003-1234-919X
✉ *avtonomovanatalia@gmail.com*
[a] *Институт философии РАН (Россия, Москва)*
[b] *Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Россия, Москва)*

Перевод в контексте культуры: судьба «Слов и вещей» Мишеля Фуко

Аннотация. В статье речь идет о сложной ситуации первоначального вхождения в русскую/советскую культуру знаменитой книги Мишеля Фуко «Слова и вещи» (Paris: Gallimard, 1966; в русском переводе: М.: Прогресс, 1977). Автор статьи считает перевод и публикацию книги «советским чудом». Для эпохи застоя выход — без единой купюры — книги, в которой, в частности, содержались остро критические размышления о марксизме, был неслыханным событием. Оно случилось уже более сорока лет назад. Однако в наши дни книга не стала перевернутой страницей истории познания. Интерес к эпохе 1960–1970-х годов как во Франции, так и в России, возобновился, и судьба книги стала вновь занимать историков, социологов, философов. Автор статьи, которому довелось вводить Фуко в русскую/советскую культуру и быть переводчиком данной книги (совместно с В. П. Визгиным), рассказывает об обстоятельствах ее перевода, о том, как она воспринималась в советское и отчасти в постсоветское время. В статье показана общая ситуация полного дефицита переводов современной западной философской и научно-гуманитарной литературы в советский период, на фоне которой появление перевода «Слов и вещей» стало удивительным событием; отмечены те особенности идейного содержания и строения книги, которые изначально привлекли внимание российских/советских исследователей к работе с этим текстом; очерчены некоторые тенденции развития русского философского языка в советский и постсоветский периоды, в частности, сформулирована задача выработки концептуальных языков в процессе перевода текстов современной западной философии и научной гуманитаристики (она не потеряла своей актуальности и поныне); представлен ряд изменений, которые претерпевает начальный текст перевода (1977) при подготовке нового критического издания.

Ключевые слова: «Слова и вещи», Мишель Фуко, эпистема, парадигма, семиотика, структурализм, язык, человек, «археология знания», концептуальные языки, перевод

© Н. С. АВТОНОМОВА

Для цитирования: *Автономова Н. С.* Перевод в контексте культуры: судьба «Слов и вещей» Мишеля Фуко // Шаги / Steps. Т. 5. № 3. 2019. С. 10–37. DOI: 10.22394/2412-9410-2019-5-3-10-37.

Статья поступила в редакцию 20 декабря 2018 г.
Принято к печати 1 марта 2019 г.

Shagi / Steps. Vol. 5. No. 3. 2019
Articles

N. S. Avtonomova [ab]
ORCID: 0000-0003-1234-919X
✉ *avtonomovanatalia@gmail.com*
[a] *Institute of Philosophy,*
Russian Academy of Sciences (Russia, Moscow)
[b] *The Russian Presidential Academy*
of National Economy and Public Administration (Russia, Moscow)

Translation in the context of culture: The destiny of Michel Foucault's *The order of things*

Abstract. The article deals primarily with the complex situation of Michel Foucault's *Les mots et les choses* (1966) being introduced into Russian/Soviet culture (1977). The translation and publication could be treated as a "Soviet miracle". During the "era of stagnation", publication without any cuts by the censorship of a book that included striking critical passages on Marxism was an unprecedented event. This happened more than 40 years ago. In the present period, due to a renewed interest in the period of the 1960s–1970s both in France and in Russia, historians, sociologists and philosophers ask themselves how could the book appear in the Soviet ideological and cultural context, who decided to publish it, what was its reception by readers, etc. The author of this article, who was fortunate to be able to introduce Michel Foucault to Soviet/Russian readers and who translated the book (together with V. P. Vizgin), discusses the circumstances of its translation and of how it was perceived in Russia during the Soviet and post-Soviet period. The article lays out the general situation during the Soviet period of a total absence of translations of contemporary Western philosophical literature; points out the features of content and structure of Foucault's book that attracted some Russian/Soviet scholars'; outlines the necessity of developing Russian conceptual languages, especially in the process of translating texts of contemporary Western philosophy and human sciences; and,

© N. S. AVTONOMOVA

finally, enumerates some changes that the initial translation of the text underwent in the process of preparing a new critical edition.

Keywords: *Les mots et les choses*, *The order of things*, Michel Foucault, episteme, paradigm, semiotics, structuralism, language, human, "archeology of knowledge", conceptual languages, translation

To cite this article: Avtonomova, N. S. (2019). Translation in the context of culture: The destiny of Michel Foucault's *The order of things*. *Shagi / Steps, 5*(3), 10–37. (In Russian). DOI: 10.22394/2412-9410-2019-5-3-10-37.

Received December 20, 2018
Accepted March 1, 2019

Советское чудо

Как произведения чужой культуры входят в нашу жизнь, в наш интеллектуальный мир, в наши размышления? Для культовой книги современной французской философии — «Слова и вещи. Археология гуманитарных наук» Мишеля Фуко [Foucault 1966; Фуко 1977] — этот путь был затруднен, казалось бы, совершенно непреодолимыми препятствиями. Идеологическими, социальными, культурными. Здесь требуется историческая справка, особенно для тех читателей, которые знакомы с советской эпохой только по книгам и рассказам. Сейчас они видят вокруг себя и на прилавках книжных магазинов огромное множество современных книг по философии и научно-гуманитарным дисциплинам, переведенных с разных языков. Но так было не всегда: в советскую эпоху современная западная философия присутствовала на интеллектуальной сцене крайне ограниченно — главным образом через описания, более или менее содержательные, в трудах специалистов по «критике современной буржуазной философии» (так официально называлась эта дисциплина). Этот дефицит был описан, в том числе автором этих строк, уже неоднократно, и в самом деле, легче было сказать, что было доступно на русском языке из философской литературы XX в., нежели перечислить, чего не было. Активно переводилась античная литература, неплохо было представлено раннее Новое время. Больше повезло эпохам «до Маркса», например, идеологам Просвещения и тем, кто попал в «три источника и три составные части марксизма»: английским политэкономистам, немецким философам-идеалистам и французским социалистам-утопистам. Неплохие шансы быть переведенными были у книг, далеких от идеологии (философия науки, Рудольф Карнап), и, очень выборочно, у западных «ученых-марксистов» (Люсьен Сэв); были переведены экуменистические Тейяр де Шарден и Альберт Швейцер, «Исследования по эстетике» Романа Ингардена. Однако для советского читателя не существовало ни Сартра (я имею в виду его философские работы), ни Хайдеггера, ни Ясперса, ни Гадамера, ни Гуссерля с Фрейдом — хотя в начале XX в. те же психоанализ или феноменология развивались в России вполне успешно. Сборники ИНИОН (Института научной информации по обществен-

ным наукам), в которых публиковались переводы фрагментов тех или иных произведений западной философской мысли, были, разумеется, недоступны широкому читателю. Оригиналы этих книг в крупнейших библиотеках имелись, но при этом нередко находились в спецхранах, куда допускали по специальному разрешению — для работы над той или иной темой.

А потому вполне понятно, что при переходе от советской эпохи к постсоветской обнаружились не только огромные дефициты информации, но также понятийные дефициты — ведь слова и мысли сами собой не переходят границы языков и культур, их нужно вырабатывать в своем языке и культуре, и это очень трудная работа. Процесс перевода с языка на язык, с культуры на культуру — привилегированная сфера такой работы. В процессе перевода возникают две главные интеллектуальные и культурные задачи — перевести / перевезти содержание мысли и одновременно выработать концептуальные языки, или средства, которые способны справиться с такой транспортировкой.

Символической вехой в культуре стал 1989 г., когда впервые после огромного перерыва, в 50-ю годовщину смерти Фрейда, был переиздан сборник его сочинений, а также вышли «Лекции по введению в психоанализ», и тем самым, можно сказать, открыт шлюз, ранее отделявший советского читателя от современной западной мысли — философской и научно-гуманитарной[1]. Процесс ввода новой литературы в культуру шел вне всякой логики и хронологии, хотя активно взявшиеся за дело российские издатели и зарубежные программы и фонды (например, Translation Project и «Университетская библиотека» Сороса, программа «Пушкин» французского посольства в России) стремились придать упорядоченность процессу выбора, перевода, рецензирования и издания книг.

Если при «нормальном» развитии культуры перевод иностранной литературы обычно происходит более или менее постепенно, то в данном случае быстрое и почти одновременное появление на российской почве массы книг, возникших в разное время и в разных традициях, подчас почти блокировало возможности освоения этой литературы. К тому же неправильно было бы думать, что один только перевод с иностранных языков и культур или публикация какого-то архивного текста русской философии уже сами по себе закрывают концептуальные лакуны: для того чтобы это произошло, требуется усилие по вписыванию нового в культуру и, стало быть, его комментирование, изучение, апробирование новых понятий, нахождение взаимных артикуляций между уже существующим и входящим. Новые процессы привели к тому, что за последнюю четверть XX в. появились сотни книг по философии и гуманитарных наукам. В их числе — уже не понаслышке и не в кратких пересказах, а в солидных, репрезентативных текстах — в русскую культуру вошли десятки и сотни имен западных философов самых разных направлений: Х. Арендт, Т. Адорно, В. Беньямин, Ф. Брентано, М. Бубер, М. Вебер, Г. Зиммель, П. де Ман, Г. Маркузе, О. Шпенглер, М. Шелер, М. Хайдеггер, Р. Рорти, Дж. Остин, К. Гемпель,

[1] Кстати сказать, в том же 1989 г. был открыт и второй шлюз, закрытый в советскую эпоху, что позволило обратиться к той русской философии — как религиозной, так и нерелигиозной (реже), как отечественной, так и эмигрантской, — о которой в советское время не говорилось. Началась публикация серии «Из истории отечественной философии»; ею руководил журнал «Вопросы философии», а готовило к печати издательство «Правда».

Г. Райл, Х. Патнем, Ч.-С. Пирс, Дж. Сёрл, Х. Ортега-и-Гассет, А. Дж. Тойнби, Ю. Хабермас, Й. Хёйзинга, У. Эко и мн. др. Среди авторов, отчасти републикованных, были Б. Кроче, В. Виндельбанд, Э. Гуссерль, В. Дильтей, Э. Кассирер, Г. Риккерт и др., причем их труды вышли в более объемном виде, чем в начале века, до революции. Этот список далеко не полный, но он дает представление о том, как много нового появилось на российской интеллектуальной сцене. Этот процесс расширения кругозора сопровождался переменой социальных эмоций. Поначалу возникало чувство эйфории, надежда на то, что мы наконец-то поймем, что с нами происходит, применим к себе новые средства анализа и со всем разберемся, потом эти эмоции сменялись разочарованием. В любом случае оказывалось, что сэкономить на усилии самоосмысления не удается: только внимательное соотнесение времени создания оригинального текста с временем его рецепции в культуре перевода позволяет понять, что́ из «чужих» понятий может войти в наш собственный концептуальный язык, а что останется за кадром как нечто маргинальное.

На фоне сказанного выше рассматриваемый здесь случай — перевод и издание «Слов и вещей» Фуко в период полного застоя [Фуко 1977] — это настоящее советское чудо. На российской/советской интеллектуальной почве эта книга недавно справила свое сорокалетие. В последние годы судьба «Слов и вещей» Фуко стала интересовать молодых историков и социологов; они стремились выяснить, как она вошла в культуру, кто ее ввел, кто принял решение о ее переводе и публикации, как ее восприняли и др. [Smirnova 2012; 2013][2]. Честно скажу, что ответить однозначно на вопрос, кому персонально мы обязаны ее официальным появлением на свет в советской России, пока не удается, хотя я нашла у себя документ, из которого явствует, что мой контракт на перевод книги был подписан в конце 1975 г. директором издательства «Прогресс» Юрием Владимировичем Торсуевым. Его я никогда не видела и как-либо характеризовать не могу. И мне трудно сказать, была ли книга подписана в печать «по невнимательности» руководства издательства или по причине тонкого расчета умных людей.

Кажется, в данном случае — в обсуждении вопроса о том, как случилось, что книга вышла, — я имею право начать с себя. Впервые развернутая информация о книге Фуко и о ее авторе появилась в моей статье «Концепция “археологического знания” М. Фуко» [Автономова 1972]. Тогда я была еще в аспирантуре Института философии Академии наук СССР. По поводу этой публикации обращаю внимание на малый временной разрыв между созданием книги во Франции и ее представлением в России/СССР («Слова и вещи» вышли в 1966 г., а «Археология знания» — вторая работа, которая тоже освещалась в статье, — в 1969 г.). Статья вышла в разделе «Философия за рубежом», который набирался петитом. Журнал «Вопросы философии» имел тогда тираж 39 000 экземпляров. Его читали многие; в коридоре Института философии на Волхонке ко мне подходили коллеги и просили пояснить ту или иную концептуальную связку, многие находили для себя какой-то интересный фрагмент в изображении концепции Фуко, которую он назвал «археологией знания», чтобы отличить ее от обычной линейной кумулятивной истории.

[2] Несколько лет назад Елена Смирнова брала у меня интервью на эту тему, оно наконец-то дождалось своего часа (см.: [Автономова 2019]).

В противоположность истории археология не ищет предшественников и последователей, зачатки и влияния; ей важно лишь то, что находится в пределах «эпистемы» — синхронного среза культурной почвы как основы любого исследования, любого акта познания той или иной эпохи. Фуко вычленяет три такие эпистемы (от Возрождения до XX в.) и считает, что их конфигурации определяют собой способы постановки проблем, выбор объектов и средств их постижения в различные исторические периоды.

Почему эта книга стала для меня столь важной? В данном случае личные свидетельства имеют и более общее значение. Я пришла в философию из филологии и в аспирантуре стала искать для себя нечто, связанное и с языком и с философией, увлекалась по очереди теориями лингвистической относительности, учением о символических формах Кассирера. Все это было интересно, но душевного подъема не давало. А вот книгу «Слова и вещи» я запоем читала в 3-м зале Ленинской библиотеки, преодолевая большие языковые трудности: она вызвала у меня в тот период огромную радость и желание немедленно заняться проблематикой «французского структурализма», которая и стала предметом моего интереса на долгие годы. (В эту рубрику, напомню, наряду с Фуко и особенно «Словами и вещами» с той или иной мерой обоснованности/необоснованности включали антрополога Клода Леви-Строса, психоаналитика Жака Лакана, исследователя литературы и массовой культуры Ролана Барта, хотя соглашался именоваться структуралистом один только Леви-Строс.) По книге Фуко я сделала конспект от руки на сто страниц (ксерокопировальных машин тогда не было), который у меня вскоре украли: о переводе книги тогда речь не шла, так что он представлял информативную ценность — взяли почитать и не вернули.

Чем я могу объяснить духоподъемное воздействие этой книги, которую полюбила и о которой всем рассказывала? Она давала, как мне представлялось, захватывающую картину целого — состояний знания в тех областях, которые мы сейчас называем филологией, биологией, экономикой (а когда-то их прообразы именовались всеобщей грамматикой, естественной историей, анализом богатств) с Возрождения по XX в. Основа описания была семиотической (речь шла о разных соотношениях «слов» и «вещей» в разные периоды), короче говоря, огромные пространства познания были описаны и проанализированы без обращения к «базису» и «надстройке», что воспринималось, условно говоря, как нечто антиидеологическое. И тем самым освобождающее, открывающее путь объективному познанию в гуманитаристике, возможностей которого я искала как по склонностям характера, так и по полученному воспитанию/образованию (уже в те давние времена я читала как русских формалистов, так и московско-тартуских семиотиков, которые были тогда в самом начале своего пути).

При этом логика акцентирования синхронных связей в тот или иной период и разрыва длинных цепочек подчас приводила в «Словах и вещах» к парадоксальным следствиям, насчет обоснованности которых можно было спорить: так, при особом повороте взгляда «фиксист» Кювье, вопреки обычным представлениям, оказывался более современным мыслителем, чем «эволюционист» Ламарк. Марксизм, с которым в советское время связывалось представление о неопровержимой новизне в подходе к социальным и экономиче-

ским явлениям, трактовался у Фуко как нечто уютно уложившееся в эпистему XIX в., наряду с Рикардо, и чувствующее себя в ней «как рыба в воде», тогда как «в любой другой среде, — утверждал Фуко, — он перестает дышать» [Фуко 1977: 343] (в оригинале: «Le marxisme est dans la pensée du XIXe siècle comme poisson dans l'eau : c'est-à-dire que partout ailleurs il cesse de respirer» [Foucault 1966: 274]). Обращаю внимание: в итоге книга вышла без единой купюры; в ней есть только соответствующие, причем достаточно мягкие, постраничные комментарии, главным образом редакторские. Мои коллеги за рубежом до сих пор не могут в это поверить.

Удивительная особенность книги — показ сбалансированности частей и процессов в пределах синхронных срезов: если на одном конце современного мыслительного пространства был Витгенштейн, то на другом непременно оказывался Хайдеггер, если на одном — аналитика, то на другом непременно — онтология. Эти срезы, как уже говорилось, определялись тем или иным типом знакового отношения, господствующего в культуре. В возрожденческую эпоху определяющими были, по Фуко, отношения с х о д с т в а между словами и вещами; в эпоху классического рационализма те и другие опосредовались мыслительным п р е д с т а в л е н и е м, дискурсивно прописанным в линейном порядке языка; а в современной эпистеме определяющим для отношения слов и вещей было вторжение онтологических факторов — жизни, труда, языка, причем язык трактовался уже не как прозрачное средство записи мыслительных представлений, но как новый фактор, влияющий на саму возможность познания и его модальности. Человек появился на входе в современную эпистему, но сейчас, когда язык все больше онтологизируется, все больше превращается в некое самостоятельное бытие (это видно по современной литературе — Малларме, Арто, Русселю), шансы человека, по Фуко, идут на убыль: такие вот удивительные сообщающиеся сосуды!

Наряду с критикой марксизма, другой очевидно провокативный момент в книге — критика «антропологического сна». У Канта, как известно, речь шла о «догматическом сне» разума, при котором люди не различали, где место науке и на каких условиях, а где место метафизике. А тут речь идет о том, что антропологическая опора — на человека, на субъект, сознание, гуманизм — ненадежна для построения знания, в том числе и знания о человеке. Позднее Фуко в своих интервью неоднократно пояснял этот свой тезис, подчеркивая, в частности, ненадежность гуманизма как теоретической опоры знания о человеке: гуманизм как идеология есть нечто рыхлое и непрочное (mou), он может быть религиозным и атеистическим, может превозносить науку или же отрицать ее и др. Так с чего же мы начинаем, из чего исходим: из субъекта, смысла, человека или же из понятия, структуры? Фуко говорил, что наука не может иметь своим определением слово *экзистенциальный*, а вот слово *структуральный* — может [Foucault 1994b: 582], и даже, добавим от себя, должна иметь! Слово *структуральный*, продолжает Фуко, может быть эпитетом ко многим исследованиям и практикам в лингвистике, социологии, истории, экономике. Однако, кроме того, в общем познавательном поле такой подход не ограничивается абстракциями, но проникает в конкретное существование людей: забота о строгости, по Фуко, — это наша главная форма «честности» [Ibid.]. Высказывания Фуко о структурализме колебались и менялись, их анализ заслуживает отдельного исследования.

Откуда пришла лично к Фуко эта проблематика, этот сдвиг акцентов с субъекта, человека, сознания — на структуру, язык, бессознательное? Он очень четко обрисовывает этот перелом в интеллектуальной жизни своего поколения. А именно, он говорит о переходе от своих ранних настроений 1950-х годов к умонастроениям 1960-х. Мне уже доводилось об этом писать и цитировать свидетельство Фуко: «Мы воспринимали поколение Сартра как храброе и щедрое, имевшее страсть к жизни, политике, существованию. Но мы обнаружили нечто иное, другую страсть — страсть к понятию и тому, что я назову “системой”» [Foucault 1994a: 514]. По мнению Фуко, этот перелом в его философских взглядах произошел где-то в середине 1950-х годов. Для Сартра важнее всего был смысл, и он искал его повсюду. Но Фуко выдвигает другие приоритеты и опирается при этом на «структуралистов», прежде всего на Дюмезиля. Таким образом, научные взгляды Фуко складывались не без влияния Жоржа Дюмезиля и его идеи структуры, но в целом его наставники имели разные взгляды: так, Жан Ипполит (переводчик гегелевской «Феноменологии духа» на французский язык) опирался на смысл и на субъект, тогда как Жорж Кангилем клал во главу угла понятие и систему. Предвосхищая итоги будущих исследований, отмечу здесь, что, как мне представляется, напряженная антиномичность этих полюсов (а именно субъект и смысл, с одной стороны, и понятие и система, с другой) не могла быть и не была раз навсегда разрешена в творчестве Фуко. Более того, она постоянно играла в нем динамическую, мотивационную роль; в частности, в поздний период творчества продвигала Фуко к построению этики нового типа — этики поступка, причем это был не возврат к экзистенциалистской схематике, но концептуальное движение, основанное на большой эмпирической работе, на учете опыта анализа системных и структурных закономерностей познания человеческих явлений.

Но эти поиски происходили уже в других работах Фуко, что же касается «Слов и вещей», то в этой работе антитеза языка, структуры, с одной стороны, и человека, смысла, с другой, была четко очерчена. Напомню известную цитату, которой завершается книга; в ней ярко суммируется подход Фуко к человеку:

> Во всяком случае, ясно одно: человек не является ни самой древней, ни самой постоянной из проблем, возникавших перед человеческим познанием. Взяв относительно короткий временной отрезок и ограниченный географический горизонт — европейскую культуру с начала XVI века, — можно быть уверенным, что человек в ней — изобретение недавнее. Вовсе не вокруг него и его тайн издавна ощупью рыскало познание. Среди всех изменений, которым подверглось знание вещей и их порядка, знание тождеств, различий, признаков, эквивалентов, слов, — короче, среди всех эпизодов этой глубинной истории Тождественного лишь один, который начался полтора века назад и, быть может, скоро закончится, позволил явиться образу человека. И это было не избавлением от давнего беспокойства, не выходом из тысячелетней заботы к ясности осознания, не подступом к объективности того, что так долго было достоянием верований или философий, — это было результатом изменения фундаментального знания. Человек, как без труда показывает археология нашей мыс-

> ли, — это изобретение недавнее. И конец его, быть может, недалек. Если эти диспозиции исчезнут так же, как они некогда появились, если какое-нибудь событие, возможность которого мы можем лишь предчувствовать, не зная пока ни его облика, ни того, что оно предвещает, разрушит их, как была разрушена на исходе XVIII века почва классического мышления, тогда — можно поручиться — человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке [Фуко 1977: 487] (в оригинале см. завершающую фразу книги: «l'homme s'éffacerait, comme à la limite de la mer un visage de sable» [Foucault 1966: 398]).

Эта весомая заключительная фраза побуждала многих связывать с Фуко лозунг «смерти человека» в его наиболее деструктивном виде, однако никакой натуралистической разрушительности у Фуко не было. Более того, его мысль, как видно из приведенной выше цитаты, выражена в сослагательном наклонении: если изменится конфигурация эпистемы, то и образ (понятие) человека, и подходы к его познанию, и понимание «гуманизма» в европейской культуре самым решительным образом изменятся, а следы прежнего понимания — изгладятся, сотрутся, «как лицо, начертанное на прибрежном песке»[3]. Однако развернутое в этой книге высказывание Фуко на тему человека и археологии гуманитарных наук было, конечно, продуманно провокативным.

Первое время после выхода обзорной статьи я удивлялась: почему я, аспирант и недавний филолог, оказалась первой, кто захотел что-то сказать о Фуко и об этой книге, почему этого не сделал никто из философов? Но ведь и никто из филологов? Среди возможных объяснений предложу такое. В книге было много эмпирии, Фуко выступает в ней как последователь французской исторической школы, Башляра, Кангилема и др., придерживается установки на «малые имена»: крупные фигуры поглощаются изобилием редких имен. Философов это, возможно, раздражало, они в этом тонули. Однако важно и другое: интерес Фуко к трансцендентальному, к априорному, к условиям возможности познания был не слишком важен филологам и другим представителям эмпирических наук. В результате и те и другие не были достаточно внимательны к одной конструктивной особенности Фуко в его понимании человека и познания — к тому, что Фуко называл «эмпирико-трансцендентальным дублетом»; такое построение концепции позволяет связывать философское и специально-научное, образует мост между ними. В силу специфики моего институционального места (филолог в философии) эти дисциплинарные странности меня не смутили, напротив, очень обрадовали, так как давали новый взгляд на, казалось бы, привычные материи.

---

[3] Чеканностью этой концовки я обязана М. Л. Гаспарову. Он очень не любил Фуко, считая его автором претенциозным и многословным, однако брался местами редактировать мой перевод «Слов и вещей», а позднее читал — по моей просьбе — поздние книги Фуко из «Истории сексуальности» на предмет выверки того, как трактуются им античные сюжеты, и находил подчас отсутствие необходимого и акценты на второстепенном. В том, что касается перевода итоговой фразы «Слов и вещей», признаюсь, что все мои варианты были менее убедительными, тогда как гаспаровская фраза «человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном песке» навсегда врезается в память.

Во Франции реакция на выход книги была оглушительной. Позже, во вступительной статье к ее переводу, я сделала большой, подробный обзор французских откликов, так как, к счастью, богатство коллекции иностранных журналов в Ленинской библиотеке той поры делало это возможным. Сторонникам структурализма Фуко казался слишком феноменологом (внимание к восприятию и онтологическим аспектам познания), феноменологи, напротив, видели в нем структуралиста, не уделяющего должного внимания проблеме смысла, а некоторые с удивлением, но не без оснований усматривали в его работе «трансцендентальный позитивизм».

В своей журнальной статье я решила представить концепцию Фуко через ломку структур классического рационализма: показать, что отныне сознание не мыслится как однородное, свободное, незамутненное и как соответственно меняется образ мира, который не видится как место реализации прямолинейных идеалов, причем сам способ постановки вопроса о человеке становится отдельной проблемой. Можно сказать, что происходит своего рода понижение уровня абстракций, которыми оперирует философия: в ее образ сознания включаются в той или иной мере и в той или иной форме социокультурные характеристики, онтологические факторы. Приоритетами «неклассической» мысли стали не сознание и прямолинейная история, но язык, структуры, их бессознательное функционирование — в жизни, в философии, в науках и др. Фуко очень четко показывает, что для современной философии, для современного гуманитарного познания самое важное — понять, как мысль может существовать под видом немысли, как человек находит возможность мыслить это немыслимое (в форме бессознательного, отчужденного человека и др.), как при этом мысль изменяет само бытие мыслящего [Фуко 1977: 416–417].

Важное отличие между французской и российской ситуациями восприятия структурализма связано именно с философскими аспектами этой проблематики. Тут обнаруживается огромная разница. Во Франции споры вокруг структурализма были, по сути, философскими, все основные философские направления — экзистенциализм, персонализм, феноменология в лице их лидеров, таких как Сартр и Рикёр, — выступали с критикой структурализма (недавно во Франции вышел по архивным материалам сборник, специально посвященный дискуссиям 1960-х годов вокруг «Слов и вещей» [Artières et al. 2009]). В Советском Союзе признать значимость философской проблематики структурализма, связанной, по сути, с новой трактовкой субъекта и познания, с выдвижением на первый план языковых структур и механизмов бессознательного, было практически невозможно. Структурализм трактовался как конкретно-научная, отчасти общенаучная проблематика. Так что заглавие моей диссертации, а потом и книги — «Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках» — было по-своему революционным. В самом деле, «философские проблемы естествознания» как категория для поиска в каталогах Ленинской библиотеки существовали: они опирались на историю споров конца XIX — начала XX в. об определении материи, о познаваемости атома и о других подобных сюжетах, значимость которых для марксистской философии была легализована выступлениями Ленина по этим темам. С гуманитарными науками ситуация была иной: по сути, философией общественных наук (о гуманитарных науках говорили реже), был исторический материализм,

а потому какие-то иные «философские вопросы» были как минимум не вполне уместны. Поэтому для советского догматического марксизма французский структурализм (условно говоря, те же Леви-Строс, Лакан, Барт, отчасти Фуко и др.), который в ряде аспектов выступал как полновесная философская концепция, был именно в этом своем качестве неприемлем. Следовательно, моя задача была внутренне противоречивой и парадоксальной: эту философскую проблематику во французском структурализме нужно было одновременно и открыть, и замаскировать, представить как специально-научную и самое большее — общенаучную.

А в целом мой обзор не был бутылкой, брошенной в море; концепция Фуко, как она предстает в моем обзоре, стала новым словом, которое услышали, которым заинтересовались, хотя оценки этой концепции вовсе не были однозначно позитивными. В Институте философии большинство людей были тогда сторонниками, условно говоря, экзистенциализма (т. е. как раз такого подхода, который ставил на первый план субъект и смысл, а уж никак не язык и бессознательное). Например, Лев Филиппов, талантливый исследователь французской философии, рано умерший, и Генрих Батищев, который увлекался тогда ранним Марксом, а потом стал религиозным философом, признались друг другу в том, что они не подали бы мне руки (из-за моих структуралистских симпатий), если бы не знали, что я за человек (рассказал мне об этом Батищев).

На пути к изданию

Дальнейшая судьба книги выходит из области моих личных интересов в плоскость проблем перевода книги и ее издания: спрашивается, как книга, прочтенная и тем самым «переведенная» мною для себя, стала книгой, переведенной для других и опубликованной. Я уже говорила, что делилась со всеми вокруг моими восторженными впечатлениями. В любом случае моим мнением о книге с самого начала располагал Дмитрий Ханов, молодой сотрудник издательства «Прогресс», муж моей институтской коллеги Нателлы Колаковой, работавшей в секторе научной информации и многое переводившей для упоминавшихся выше реферативных сборников ИНИОН. Он и стал для меня связующим звеном с издательством «Прогресс». В свою очередь, Светлана Неретина рассказывала мне, что сторонником этой публикации в «Прогрессе» был глава отдела научного коммунизма Лен Карпинский; правда, в тот момент, когда я в конце 1975 г. подписывала контракт на перевод, его в «Прогрессе» уже не было. Как уже отмечалось, вопрос о том, кто́ убедил тогдашнего директора «Прогресса», Ю. В. Торсуева, что эту книгу нужно и, главное, можно издать, остается для меня открытым.

Перевод делался очень быстро. Договор я подписывала в конце 1975 г., в набор рукопись сдавалась уже в январе 1977 г., а в печать — в июне. Вступительную статью я написала ровно за неделю перед самым новым 1977 годом, но я была полностью готова к ее написанию, весь материал был продуман и в голове компактно сложен. Во всяком случае понятно, что при таких скоростях предполагаемого издания взяться за перевод всей книги я не могла. О поисках второго переводчика и о других обстоятельствах подготовки книги см.: [Автономова 2015: 10–16]. Для меня было принципиально важно сделать перевод

второй части книги, посвященной современным познавательным конфигурациям; мой соавтор (им стал Виктор Павлович Визгин, который занимался историей, потом философией науки, а затем очень интересно эволюционировал в своих философских предпочтениях) переводил первую часть, посвященную предшествующим эпистемам.

Книга вышла с грифом «для научных библиотек», а это значит, что в открытой продаже она не была, но все равно библиотеки, во всяком случае крупные, ее получили, она стала известна очень широко. Несмотря на особый гриф, тираж книги был и по тем временам немалый — 5000 экземпляров, а по нынешним временам — просто немыслимо большой для научной книги. Ее завезли и в так называемые социалистические страны. Мне доподлинно известно, что ее много читали в Болгарии, кажется, также в Польше и Венгрии.

Когда сейчас говорят, что в советские времена доступ к современной западной литературе был открыт, потому что люди могли читать оригиналы, это звучит неубедительно. Читать первоисточники могли специалисты по французской философии, но их было ничтожно мало, настоящих специалистов вполне можно было пересчитать по пальцам. В. П. Визгин, В. А. Подорога, Т. А. Клименкова писали о Фуко в научных сборниках, так что философская публика, а при желании и более широкая общественность могли таким образом знакомиться с его проблематикой. Однако в течение почти двадцати лет после выхода на русском языке «Слов и вещей» главным источником собственных представлений о Фуко для широкого читателя оставалась именно эта книга. Кажется, мое предисловие к изданию 1977 г. (оно потом перепечатывалось и в переиздании 1994 г.) получилось достаточно внятным; говорят, что его и сейчас используют для подготовки учебных курсов. Сразу после выхода «Слов и вещей» я попыталась предложить «Прогрессу» перевод другой книги Фуко, «Археологии знания» (идеологически нейтральной), но надо мной в издательстве незлобно посмеялись: радуйтесь тому, что получилось, остального дождетесь нескоро! Тот, кто смеялся, к сожалению, был прав.

Как уже отмечалось, главное, что импонировало мне во французском структурализме, — это стремление к объективности гуманитарного познания, и я говорила об этом как в предисловии к книге Фуко, так и в своей собственной книге о философских проблемах структурного анализа в гуманитарных науках, построенной целиком на французском материале [Автономова 1977]; после долгих проволочек, организованных институтским и издательским начальством (особенно активными ее противниками были ученый секретарь Института философии В. В. Быков и заведующий философской редакцией «Науки» Н. И. Кондаков), она все же вышла в свет, причем почти одновременно с переводом Фуко. Структуралистский поворот выражал стремление гуманитарных наук (антропологии, этнологии, психологии и др.) освободиться от субъективистских форм философии и одновременно — от идеологии в гуманитарном познании, обрести объективность собственными средствами. Этот философский пласт идей выходил на видное место в трудах французских структуралистов.

Во Франции имелось, кстати, широкое поле общественной восприимчивости к философии (этому способствовали и знаменитая система преподавания философии в старшем классе лицея, и написание «диссертации по филосо-

фии» в качестве главного экзамена на аттестат зрелости), а потому полемика вокруг структурализма имела широкий общественный резонанс, подогреваемый множеством философских и общекультурных журналов, которые включались в 1960–1970-е годы в обсуждение споров между «экзистенциализмом» и «структурализмом», Сартром и Фуко, Рикёром и Леви-Стросом.

Этим французская ситуация радикально отличалась от российской / советской. Напомню, что вместо слова *семиотика* представителям Московско-тартуской семиотической школы пришлось изобрести понятие *вторичные моделирующие системы*: это помогало опознавать своих и было непонятно неблагосклонному официальному начальству. Но своей философии вокруг этого не было, точнее, ее не должно было быть. А потому Лотман старался держаться подальше от философских обсуждений (собственно говоря, от философии, воспринимаемой преимущественно в свете догматического марксизма). Когда российских (советских) структуралистов (например, того же Лотмана) упрекали, как это делала Юлия Кристева, в том, что они не строят собственную теорию субъекта или бессознательного, этот упрек был совершенно не историчным и внеконтекстуальным. Этого не было, потому что этого быть не могло.

Но ведь для того, чтобы рецепция книги состоялась, нужно было, чтобы импульсы индивидуального интереса были подхвачены многими. И когда меня спрашивают, зачем все это было мне нужно (почему я переводила именно это), данный вопрос должен быть адресован не только мне лично, но и всему философскому и гуманитарному сообществу того времени. Думаю, что никакого выбора тогда и не было. Именно вокруг «Слов и вещей» велись основные французские философские дискуссии. Отмечу вместе с тем созвучие структуралистской проблематики с некоторыми тенденциями в осмыслении Маркса и марксизма. В моей личной читательской биографии Фуко пришел вслед за Луи Альтюссером. А это значит, что он был прочитан в контексте идей «теоретического антигуманизма» (это Альтюссер середины 1960-х годов — периода книги «За Маркса» и коллективного труда «Читать “Капитал”»). Но самое главное было в том, что Альтюссер 1960-х годов (его взгляды потом менялись, да и раньше были иными) четко выступал против Маркса-идеолога за Маркса-ученого, за Маркса-эпистемолога. Такая позиция в отношении марксизма была мне очень близка и представлялась весьма конструктивной[4]. В советском марксизме мне были наиболее интересны проблема превращенных форм (Verwandelte Formen), а также идея объективных мыслительных форм — все это изводы гегелевской проблематики, сопоставимые с некоторыми марксистскими интуициями и во многом проясняющие знаковое бытие языка, — их развивал М. К. Мамардашвили [1968; 1970], который, кстати, дружил с Альтюссером и переписывался с ним. Мне говорили, что Мамардашвили поддерживал публикацию моих первых статей — о Фуко и о Лакане — в журнале «Вопросы философии», где он был тогда заместителем главного редактора (при И. Т. Фролове).

[4] В моей кандидатской диссертации о французском структурализме (1973) была глава о французском марксисте Луи Альтюссере как независимом источнике структурного подхода к Марксу периода «Капитала», однако при издании книги М. Н. Грецкий, который был официальным рецензентом рукописи, «не рекомендовал» публиковать ее на том основании, что взгляды философа-марксиста и взгляды представителей специальных областей знания не могут быть представлены рядоположно; в результате моя расширенная статья о концепции Альтюссера вышла в свет в совсем другом контексте в конце 1980-х годов [Автономова 1987].

Публикация этой книги опередила в России (СССР) свое время, и намного. А после этого вновь наступил провал, так что следующие переводы работ Фуко появились лишь в постсоветскую эпоху, в 1990-е годы. Соответственно, образ автора и его творчества по мере выхода этих работ становится другим. От «археологии знания» Фуко переходит к «генеалогии власти-знания» (это работы 1970-х годов) и к трудам, условно систематизируемым как «этика существования», «этика образования-себя», этика «заботы о себе» (это работы 1980-х годов) (об этой эволюции см. во многих моих публикациях, в частности [Автономова 2001; 2010]). По Фуко, власть имеет анонимные механизмы действия, она проникает во все формы общественной жизни. Ее нужно выявлять и изучать в самых разных сферах деятельности — в армии и в школе, в семье и в больнице. Дисциплинирование и нормирование, опирающиеся на принцип «всеподнадзорности», определяют и предметы познания, и его методы. Что касается основных работ 1980-х годов — «Использование удовольствий», «Забота о себе», — то в них речь идет о том, какие формы самоотчета, какие практики и ритуалы «признания», «исповеди», а также «надзора» общества за индивидом конструируют наши представления о «сексуальности» в тот или иной исторический период. Интересно, что Фуко трактует механизмы власти не как «репрессивные», но как «производящие» в широком смысле слова. Более того: исследователь все больше внимания уделяет тем путям, на которых складываются возможности противодействия задаваемым обстоятельствам, прежде всего в виде «свободного слова», «парресии» (иначе — «вольноречие», «вольноговорение»).

Образ «Слов и вещей» в РИНЦ

Казалось бы, Фуко — уже во многом переведенный, Фуко — представленный через такие общезначимые предметы современного интереса, как психическая болезнь, медицина, тюрьма, секс, — все это уже давно устранило, нивелировало прежний интерес к «Словам и вещам» — книге, которая вышла во времена тотального интеллектуального дефицита и потому была обречена на успех. В самом деле, что может значить для современного читателя повествование о судьбе каких-то дисциплин в истории познания?! И потому я была очень удивлена, когда увидела, что и в наши дни книга «Слова и вещи» пользуется вниманием, спросом, активно цитируется. Сделать эти наблюдения позволил мне материал, представленный в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ). В целом публикации, ссылающиеся на «Слова и вещи», охватывают современную (и несовременную) литературу и искусство, социологию, культурологию, естествознание и медицину, проблемы общей семиотики и коммуникации, вопросы права, образования и, конечно, проблемы общей и философской антропологии, современные гносеологические процессы, проблему субъекта и мн. др.

Вообще-то сорок лет — это достаточно большой срок, чтобы можно было судить о некоторых тенденциях в культуре и в интеллектуальной жизни. Что произошло с языком — русским концептуальным языком за эти сорок лет? Какие слова и понятия вошли в культуру, какие не вошли? Какие содержания были усвоены и освоены, что представляется устаревшим? Данные

РИНЦ ограниченны, в данном случае они позволяют судить только о самом последнем этапе жизни этой книги в культуре, но все равно это дает интересный рецептивный материал, касающийся последнего десятилетия. Читатели 1970-х, 1980-х, 1990-х годов наверняка интересовались книгой по другим основаниям, нежели сейчас, во втором десятилетии XXI в.

Так что же при этом усваивается, что остается за бортом? Прежде всего создается впечатление, что освоение понятий или идей Фуко опирается на те или иные базовые ассоциации, которые меняются со временем. Когда-то, сорок и более лет назад, весомо звучали слова и понятия *археология*, *археология знания*: ими Фуко обозначил отличие этого знания от привычного образа исторического знания, которое ищет линейные связи; археология ведет глубинные раскопки, но на одном месте, в синхронном срезе. О том, что было важно для меня тогда, когда я вынесла слова «археология знания» в заглавие своей первой статьи о Фуко, сейчас почти не вспоминают. Итак, археологии нет, кстати, эпистемы тоже нет, или, точнее, об эпистемах говорят сравнительно редко, но ведь понятие эпистемы и у самого Фуко быстро ушло, практически исчезло. А что же есть? Парадоксально, но факт: на месте эпистем в современных отсылках к Фуко нередко появляются «парадигмы»! Напомню, что в 1970-е годы «Слова и вещи» Фуко и «Структура научных революций» Томаса Куна [Кун 1975; 1977; Kuhn 1962; 1970] были наиболее частыми отсылками в области, которая сейчас называется философией науки. Так вот, и сейчас в РИНЦ «Структура научных революций» Куна и «Слова и вещи» Фуко имеют близкие показатели цитирования. Однако терминологическая победа остается за Куном — «парадигма» пересилила «эпистему». Именно парадигма, основное понятие книги «Структура научных революций», стало наиболее универсальным способом обозначения совокупности принципов построения объектов и их исследования в ту или иную историко-научную эпоху.

В идеологическом смысле нервом обсуждаемой проблематики и определяющей темой при цитировании «Слов и вещей» оказывается пресловутая «смерть человека». В качестве реакции на «смерть человека» в рассматриваемых текстах может даваться критика ситуации, которая приводит к «смерти человека», могут предлагаться общие способы исправления такой ситуации (например, ее «гуманизация»; так, мне встретилась исследовательская тема «Гуманизация образования и проблема дефицита молодежных ценностей»), а далее ссылки начинают ветвиться по конкретным областям познания и практики.

В эпистемологическом смысле организующей идеей нередко становится системность, культурные коды, которые ее образуют. В этой связи чаще всего приводят цитату из предисловия Фуко к книге: «Основополагающие коды культуры, управляющие ее языком, ее схемами восприятия, ее обменами, ее формами выражения и воспроизведения, ее ценностями, иерархией ее практик, определяют для каждого человека эмпирические порядки, с которыми он будет иметь дело и в которых будет ориентироваться» [Фуко 1977: 37].

В операциональном смысле привлекательной проблематикой являются отношения семиотического типа в описании культуры, разного рода «слова» и «вещи», а также различные коммуникативные отношения (сюда могут относиться вопросы, связанные с понятием текста, моделями коммуника-

ции, функционированием нарративов, историческими модусами бытия книги и др.); есть тенденции построения «социальной семиотики», «юридической семиотики» и др.

Собственно о Фуко как персонаже философии и истории науки, судя по данным РИНЦ, пишут мало. Больше пишут о философии и эпистемологии гуманитарных наук. Однако редчайшей оказывается тема, которая, казалось бы, напрашивается сама собой: «Анализ гносеологического значения понятия “эпистема”». Очень уместными и в принципе продуктивными представляются такие темы, как: воплощение объективных мыслительных форм в утопическом сознании; категории и стили мышления (тут возникают вопросы: можно ли считать стиль научного мышления эпохальной или дисциплинарной характеристикой; следует ли изучать его внутри тех или иных дисциплин или на стыках дисциплин?); доминантные типы теоретизирования в эволюции отдельных областей знания, например, социологии и др. О самом понятии структуры пишут мало, но мне попалась такая не вполне внятно сформулированная тема: «Новая структурная целостность правоохранительной деятельности на основе дискурсов субъектов права и общества».

Хотя книга «Слова и вещи» посвящена различным областям познания — как они предстают в разные эпохи, я нашла мало исследований о том, как складывались современные науки, гораздо больше отсылок к литературе и искусству. Подчас разнообразие тем, обсуждаемых со ссылками на «Слова и вещи», напоминает «китайскую энциклопедию» из Борхеса, на которую Фуко ссылается в начале «Слов и вещей». В области искусства это могут быть, например, такие темы, как алтайский ритуальный ковер и создание гетеротопии; эволюция тональной музыки и историческое знание; постфигуративность Ольги Тобрелутс и новый тип чувственности; архитектоническая форма в изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне. На материале литературы мне встретились такие темы, как языковые средства организации хронотопа в рассказах Петрушевской; чудаки и безумцы (тут возможны ассоциации с «Историей безумия» Фуко, написанной раньше, чем «Слова и вещи») как элемент поэтики плутовского романа в лирике В. С. Высоцкого; кавказские дневники как способ формирования речевого поведения русского писателя Л. Н. Толстого (в пределах этой тематики затрагиваются идеология этнических меньшинств (обертоны американских прочтений Фуко), полилингвальность, проблемы войны и мира в полиэтнической среде и др., а сами дневники трактуются при этом как «претексты» для последующего творчества Толстого). Мы находим также немало более общих эстетических тем, таких как трансценденталии русской литературы; Homo aesteticus как современный идеал и др.

Тесно связаны с переосмыслением антропологической тематики публикации по темам «Тертуллиан, медиа и трансгуманизм: онтология свободы и антропология насилия в постсекулярном мире», «Личность в виртуальном мире постчеловеческого персонологического постмодернизма», «Основные принципы актуализации личности в культуре». Осмысленно ложатся на проблематику Фуко темы истории, историософии, исторического познания, истории и теории истории, а вот с собственным термином Фуко «археология знания» авторы, как уже отмечалось, не очень знают, что делать. Современные иссле-

дователи могут впечатляться чем угодно («археологией знания», «генеалогией власти-знания», принципом «заботы о себе»), подчеркивая то, что им ближе. Это могут быть темы «власти-знания» и, соответственно, разные формы политической и социальной философии или темы «эстетики существования» и, соответственно, разные формы этического и эстетического (в широком смысле слова) восприятия человека.

Анализируя следы рецепции Фуко по данным РИНЦ, мы видим, что Фуко превращается со временем в некую совокупную фигуру автора, в которой нередко вообще не различаются исторические периоды, смена взглядов, а все предшествовавшее «Словам и вещам» и все последовавшее за ними в его творчестве одновременно приписывается автору. Отсюда и ссылки на «Слова и вещи» при обсуждении правовых, медицинских и других проблем, которые именно в «Словах и вещах» не обсуждались. Например, для «Слов и вещей» совершенно не характерны ссылки на производство знания под действием определенного механизма власти, если только не трактовать само преобладание определенных когнитивных семиотических моделей в тот или иной исторический период как форму принуждения, как способ навязывания определенной познавательной ориентации.

Трактовка Фуко в этом смысле зависит от того, прилагаем ли мы его мысли к обсуждению своих вопросов или в первую очередь пытаемся понять динамику его мысли, менявшейся во времени. Когда пишущему важно проиллюстрировать свои мысли высказываниями Фуко, последний трактуется фактически как персонаж, которому одновременно присуще все, созданное им в течение жизни, так что его идеи и труды 1970-х и 1980-х годов, да и более раннего периода приписываются книге, изданной в 1966 г.! Получается, что Фуко выступает как обобщенный автор и универсальный авторитет.

В целом вопрос о рецепциях и прочтениях, а также о ссылках и цитировании не такой простой, как кажется. Иногда сам факт наличия ссылок на концепцию или на конкретный текст трактуется как положительное свидетельство внимания к данному автору в истории культуры. Мне уже доводилось писать о М. М. Бахтине (для России он является абсолютным чемпионом по числу посвященных ему работ и количеству ссылок на его работы в мире) и говорить о том, что вряд ли Бахтин обрадовался бы, увидев все те «продолжения» и «применения» его идей, которые мы теперь видим [Автономова 2014; Avtonomova 2019]. Наверное, и Фуко далеко не всему бы обрадовался. Непредсказуемость мыслительных связей и ассоциаций, тем более в других культурах и социумах, может давать тем или иным произведениям самые неожиданные формы «послежизни», но это вопрос, который заслуживает дальнейшего изучения, а не однозначно восторженной оценки.

Завершая раздел о статьях, индексируемых в РИНЦ, я хочу наметить еще один поворот темы рецепции в культуре — саму возможность обсуждения вопроса о путях превращения «неклассики» в «классику». Не углубляясь в определение понятий, укажем лишь, что в целом ряде случаев то, что воспринималось в истории культуры как провокация или прорыв всех традиций, само начинает со временем восприниматься как «классика». Как известно, философской «классикой» стало со временем даже «философствование молотом» Фридриха Ницше. Можно предположить, что «Слова и вещи» тоже находятся

в процессе превращения в «классику». Как это можно сказать и о творчестве Фуко в целом, и о том, что с легкой руки американских теоретиков литературы и культуры теперь нередко называют «французской теорией», включая в нее, наряду с Фуко, еще Деррида, Делёза, Лиотара и других ярких мыслителей, прогремевших во Франции в 1960–1970-е годы, а теперь питающих социальную и гуманитарную мысль по всему свету. На основе больших эмпирических разысканий [Sapiro 2018: 68; Sapiro, Dumont 2016] современные французские и американские исследователи утверждают: «французская теория» (the French theory) превращается в классику. Этот процесс иллюстрируется на основе разветвленной сетки критериев, среди которых цитируемость в разных странах и в источниках разного типа, число переводов на самые разные языки, определенным образом фиксируемая устойчивость концептуального веса тех или иных идей и другие аспекты функционирования «символического капитала» (Бурдьё).

Некоторые замечания о переводе

Как уже отмечалось выше, в период перехода от советской к постсоветской эпохе обнаружились не только дефициты информации, но также недостаточная разработанность концептуальных языков, способных выражать новые содержания. Соответственно, для философов на очередь дня встала важнейшая задача — выработки русского философского языка (языков). Сейчас она кажется вполне понятной и почти тривиальной. Но я хорошо помню, что, предложив ее в качестве девиза для гуманитариев постсоветского периода, я столкнулась с непониманием и даже враждебностью. Когда в 1998 г. я выступила на Бостонском философском конгрессе с пленарным докладом «(Пере)сотворение русского философского языка» (см.: [Avtonomova 2001]), мне устроили обструкцию (это были некоторые представители высокого начальства, подчеркну, *не* из родного мне Института философии, а также провинциальные — впервые многочисленные — участники российской делегации). Этот мой призыв к выработке русского философского языка непосредственно относился к переводам постсоветской эпохи. Но и во времена перевода «Слов и вещей» необходимость разработки русского концептуального языка, разумеется, уже существовала, хотя она еще не формулировалась как нечто всеобще значимое.

Прежде всего, еще до того как был сделан и опубликован перевод «Слов и вещей», встал вопрос о том, как переводить главное понятие книги — французское слово греческого происхождения, которое при написании латиницей (без акцентов) выглядит как *episteme*. В тех случаях, когда оно встречалось при упоминании Фуко в литературе, например у М. Н. Грецкого, в качестве эквивалента предлагалась калька с французского — несклоняемое в русском языке слово *эпистеме* (см., например: [Грецкий 1984: 120]). При поддержке М. Л. Гаспарова я с самого начала предложила слово *эпистема*, которое потом и закрепилось: оно было удобно для русскоязычной морфологии и синтаксиса. Так как перевод «Слов и вещей» был для меня первым большим переводом с французского, это было время выработки моего собственного франко-русского

словаря (такой словарь имеют все переводчики), т. е. совокупности индивидуальных переводческих предпочтений в тех случаях, когда речь идет о выборе одних эквивалентов среди других — допустимых и возможных.

Для меня это была очень трудная работа. В книге встречались термины, с которыми я раньше не сталкивалась. Одним из них, хотя и нечастым, было слово *pli* ‘складка’, достаточно модное в современной философии — оно есть и у Делёза, и у Деррида, и у Фуко, и у других философов, сейчас к нему все привыкли: *складка*, *загиб* принадлежат к регистру тех «топологических» понятий, которые в неклассической философии подчеркивают, можно сказать, включенность различия в сам процесс различения. Помню, как в результате долгих и бесплодных размышлений М. Л. Гаспаров с некоторой размашистостью предложил перевести его — в одном важном месте «Слов и вещей» — как «малый холмик». Фраза, над которой сейчас не знаешь, плакать или смеяться, получилась такая: «…человек ‹…› есть, несомненно, не более чем некий разрыв в порядке вещей ‹…› утешает и приносит глубокое успокоение мысль о том, что человек — всего лишь недавнее изобретение, образование, которому нет и двух веков, м а л ы й х о л м и к, и что он исчезнет, как только оно примет новую форму» [Фуко 1977: 41]. Сейчас, разумеется, я пишу: «человек ‹…› [это] п р о с т о с к л а д к а в поле нашего знания…».

А теперь перейдем к тем переводческим заменам слов и понятий, которые я предлагаю в готовящемся новом издании «Слов и вещей». Это будет третье издание; второе делалось в начале постсоветской эпохи, поэтому в нем количество, например, нелепых опечаток не только не уменьшилось, но, кажется, даже увеличилось. Я говорю здесь от своего имени, полагая, что мой соавтор В. П. Визгин сам, если захочет, сформулирует свои предпочтения.

Суммируя те изменения, которые произошли в моем сознании переводчика в сравнении с периодом первого перевода сорокалетней давности, могу выделить следующие. 1. Бóльшая толерантность к латинизированным эквивалентам (поначалу апробировались русско-славяноязычные корни). 2. Более решительно вводятся термины в автономной позиции, без пояснительных слов, в качестве независимых терминологических единиц (тогда как поначалу они употреблялись с «разъяснениями» и дополнениями. 3. В большей мере учитывается специфический синтаксис оригинала; отныне сохраняются (в целом ряде случаев) предложения огромной длины, которые раньше, как правило, дробились. Все эти сдвиги, безусловно, осложнят работу читателя, но зато дадут более верное представление о специфике смысловой динамики оригинального текста, а также о ритме, конструкции фразы, о стиле мысли и языка автора.

Понятия, о которых далее выборочно пойдет речь, неброские, но они скрепляют многие значимые мотивы в книге. Мы остановимся здесь на таких словесных единицах, как *discours*, *articulation*, *organisation*, *finitude*.

D i s c o u r s

Подробно о статусе и судьбе этого слова и понятия во французской культуре последнего полувека я пишу в книге «Познание и перевод» [Автономова 2008: 377–385; 2016: 389–397]. Важные вехи в жизни этого понятия представ-

лены в «Словах и вещах». Помимо того что понятие *discours* обозначало нечто вполне классическое — логически расчлененную речь, в период создания книги оно находилось (во французском терминологическом языке) в процессе кристаллизации своих новых смыслов, которые складывались на стыке лингвистики, психоанализа, социологии; общими усилиями была создана новая понятийная единица, снискавшая, пусть и недолгую, но громкую славу. *Дискурс* — это речь в социальных и культурных контекстах и взаимодействиях; он связан с историческими, политическими и др. обстоятельствами, а также с семиотическими, риторическими факторами высказывания, с теми или иными инстанциями власти.

Понятие дискурса в своем новом смысле развивается у Фуко прежде всего в книге «Археология знания» (1969), следующей прямо за «Словами и вещами»: речь здесь идет о «дискурсивных формациях» и «дискурсивных практиках», а также в его речи «Порядок дискурса», произнесенной на торжественной церемонии вступления в Коллеж де Франс (1970). Что же касается «Слов и вещей», то тут мы видим сосуществование двух смысловых ролей — старой и новой — в одной материальной оболочке. Основное значение этого понятия в «Словах и вещах», где оно служит опорой классической эпистемы, — это логико-лингвистическая расчлененность, противоположность интуитивному схватыванию, линейность. *Discours* здесь (во многих случаях Фуко пишет это слово с прописной буквы) — это прозрачный в своей структуре язык, способный артикулировать и анализировать представления. Мое переводческое решение заключалось в том, чтобы перевести этот опорный для всего классического мышления термин *Discours* как «дискурсия». Термин был согласован с Визгиным, который употреблял его в переводе первой части книги. Это слово было почти неологизмом (существовало лишь прилагательное *дискурсивный* в противопоставлении *интуитивному*), однако в разных контекстах внутри «Слов и вещей» оно представлялось вполне понятным и не вызывало, как я полагаю, сложностей восприятия. Что же касается других случаев употребления слова *discours* в «Словах и вещах», то оно переводилось как «речь», иногда «рассуждение». Сейчас, сорок и более лет спустя, представляется возможным чаще пользоваться словом *дискурс*, которое стало более привычным, особенно в таких теперь уже общепринятых случаях, как «научный дискурс» и др.

Как уже отмечалось выше, в отличие от классического мышления с его «дискурсией», дискурс, в котором существуют и взаимодействуют языковые и неязыковые процессы и происходит выход за рамки языка или, по крайней мере, языка, тождественного мышлению, стал в наши дни междисциплинарной сферой знания, в которой пересекаются интересы ряда дисциплин (лингвистика текста, психолингвистика, социология знания, семиотика, риторика и др.). В отличие от классического мышления, где слово *discours* отсылало к лингво-логической расчлененности, новое понятие *дискурс* выступает как нечто сугубо «недискурсивное» и даже антидискурсивное. И тут в качестве прилагательного вполне можно было бы употреблять слово *дискурсный* (хотя, разумеется, во французском языке в любом случае сохраняется прилагательное *discursif*/*dicursive*), чтобы подчеркнуть, что речь идет о феноменах, не связанных с логико-лингвистической разверткой мысли. Мне уже доводилось отмечать в своих работах [Автономова 2008: 377–385; 2016: 389–397], что,

как это ни странно, сам факт сосуществования в рамках одной языковой формы (*discours*) двух не только разных, но даже отчасти взаимоисключающих понятий не отмечен Фуко отдельно. Возможно, сосредоточиться на понятийных сдвигах мешала полная сохранность, самотождественность языковой оболочки.

Articulation, articuler

У Фуко[5] это понятие входит в четверку опорных элементов, характеризующих как классический, так и неклассический периоды европейской культуры: это «артикуляция», «обозначение» (десигнация), «деривация», «атрибуция».

В первом издании «Слов и вещей» я использовала разные варианты перевода слов *articulation*, *articuler* — «сочленение» («сочленять»), «расчленение» («расчленять»), а также придумала слово, которое мне поначалу нравилось, — «сорасчленение»: оно обозначает сочленение и расчленение как взаимосвязанные операции. Однако у этого переводческого неологизма была, как сразу заметно, излишне дерридианская стилистика («деконструировать» у Деррида это, по сути, «рас-по-строить», т. е. «расстроить» и «построить заново»); именно это заставляет меня сейчас отказаться от данной версии перевода, для Фуко неуместной.

В русском языке слово *артикуляция* связано прежде всего с речью и языком: артикулированная речь — это внятная, четкая речь с хорошим произношением слов и звуков; можно сказать, что применительно к языку *артикулированный* значит прежде всего членораздельный, разборчивый. Но это еще не все: членораздельный, артикулированный значит связный, понятный, осмысленный.

В большинстве франко-русских словарей *articulation* трактуется прежде всего как «сочленение»; это связано с образом суставов, которые организуют тело, делают его одновременно и гибким, и расчлененным; тем самым тело предстает как цельное и подвижное, но одновременно «членораздельное», отличное от единой массы. Однако франкоязычное употребление слова «артикуляция», «артикулировать» охватывает более широкий класс явлений и отношений. И Фуко этим активно пользуется. «Слова и вещи» дают множество контекстов подобного использования. Так, у Фуко речь идет об артикуляции живой и неживой природы; о теории артикуляции представлений, в силу которой слова отделяются друг от друга и могут быть связаны с содержаниями; о взаимных артикуляциях вещей и человеческого организма как основании трансцендентальной эстетики; об артикуляции опыта тела и опыта культуры и др. Один из наиболее интересных случаев употребления понятий *articulation*, *articuler* у Фуко тот, где речь идет об артикуляции мысли с тем, что в ней самой и вне ее не является мыслью, но одновременно не есть нечто внеположное ей, с чем-то внутренним и одновременно внешним. В первом издании перевода говорилось: «мысль обращается к немыслимому и сорасчленяется (s'articule sur lui) с ним» [Фуко 1977: 417]. Теперь я хочу

[5] Здесь и далее я, как правило, не указываю страницы, даже когда цитирую фрагменты из уже существующего русского перевода Фуко, так как речь идет не о законченном тексте, но об экспериментах в ходе подготовки нового издания перевода.

сказать иначе: «мысль обращается к немыслимому и артикулируется во взаимодействии с ним» (см.: [Foucault 1966: 336]). Мне кажется, что эти варианты дополняют друг друга, потому что в глаголе *артикулироваться* дело идет не только о сочленении и расчленении, но и о взаимодействии в процессе функционирования тех или иных вещей и явлений. Так, Фуко ставит вопрос о том, как возможна двойная артикуляция — истории индивидов с бессознательным в культурах, а историчности культур — с бессознательным в индивидах [Фуко 1977: 479], и т. д., и т. п.

Какой переводческий вывод можно сделать из столкновения с таким материалом, исходя из существующей практики использования слова *артикуляция* в русском языке? Однозначного решения я не принимаю. Хотя обычно я стараюсь сохранять термины в переводе для опознавания стоящих за ними понятий, в данном случае я позволяю себе чередовать варианты сообразно контекстам. Иначе говоря, иногда употребляю слова *сочленить* или *расчленить*, однако позволяю себе — в тех случаях, где значение слова интуитивно воспринимается как более широкое, — писать *артикуляция*. Думаю, что *артикуляция* в русском концептуальном языке находится как бы на пути превращения в русскоязычное слово-понятие, основанное на метафорическом переносе значения слова с речевой артикуляции на более широкие области, подразумевающие внутреннее структурирование (если речь идет о каком-то одном предмете или сущности) или структурирование во взаимодействии с другими областями или предметами. Никто сейчас не скажет, продолжится ли эта тенденция более широкого употребления слов *артикуляция*, *артикулировать*, или заглохнет. Тут есть неопределенность, но, думаю, что она продуктивна, потому что дает шанс этого более широкому значению обрести крышу над головой.

Organisation

Изменения — в сторону приближения к оригиналу — претерпел в настоящем издании перевод термина *organisation*. Мы обсуждаем его перевод преимущественно в применении к органическому миру. Организация, по Фуко, в большинстве контекстов употребления термина есть внутренняя сообразность живого существа, которая, в частности, позволяет в процессе исследования переходить от его (разрозненных) признаков к обозначению, номенклатуре. Если в первом варианте я нередко переводила *organisation* как «органическая структура» (позже выяснилось, что точно так же поступали и английские переводчики «Слов и вещей»), то теперь я решила отказаться от термина *структура*, хотя слово *организация* в автономном употреблении подчас звучит непривычно и отвлекает на другие сюжеты.

Дополнительное обстоятельство заключается в том, что в данном случае необходимо более внимательно отнестись к собственной истории понятия *структура* у Фуко. Я лишний раз задумалась о том, что это понятие, особенно применительно к Фуко, нельзя упоминать всуе, заново просмотрев антологию критических оценок «Слов и вещей» во французской прессе [Artières et al. 2009]. Напомню, что Фуко в свое время, в 1960-е годы, пал жертвой успеха собственной книги, был одновременно и возвеличен и затравлен.

Его обвиняли — причем во французском политизированном интеллектуальном контексте это было очень сильное обвинение — в реакционности, в том, что на основе такой книги никакая прогрессивная политика невозможна. Как известно, Жорж Кангилем, знаменитый историк биологии и эпистемолог, вынужден был выступить в защиту Фуко, приведя в пример общезначимую для французских интеллектуалов икону — героя французского Сопротивления математика Кавайеса, который тоже был сторонником «понятия и системы» (а не смысла и субъекта, как у экзистенциалистов!), однако погиб за правое дело, и было бы, дескать, хорошо, продолжал Кангилем свою мысль, если бы и нынешние критики Фуко, особенно из лагеря экзистенциалистов и персоналистов, смогли бы поступить так же при соответствующих обстоятельствах! В любом случае Фуко в какой-то момент пришлось оправдываться и отрицать — с излишней горячностью — какое-либо свое отношение к структурализму, тем более положительное, а при переизданиях своих книг он даже вымарывал из более ранних произведений само слово «структурный», впрочем, вовсе не частое.

Итак, все это означает, что я заменяю «органическую структуру» на «организацию». Вот несколько примеров: «это пространство создается организациями, то есть внутренними связями элементов, ансамбль которых и обеспечивает функционирование»; «связь между организациями уже не может определяться тождеством одного или многих элементов, но тождеством отношений между элементами (при котором наблюдаемость уже не играет роли) и функцией, которую они выполняют»; соответственно, заглавие раздела будет «Организация живых существ» (органическая структура была, несомненно, лучше, но ничего не поделаешь!).

Finitude

Теперь обратимся к другой тенденции в современной работе над переводом — к легитимации автономных понятий, которые ранее, так или иначе, получали поясняющие обороты. Основной термин, на который мы обратим здесь внимание, — *finitude* (конечность)**.** В русском языке близкими предметными отнесениями слова *конечность* являются части тела человека — верхние и нижние конечности (правда, как правило, во множественном числе!), что иногда может вызывать ложные ассоциации при употреблении слова *конечность* в философских контекстах, где речь идет о временности, преходящести, ограниченности человеческого бытия и специфике антропологии в контексте общей онтологии. Это слово не было привычным в русском философском языке. В первом издании книги я не употребляла слово *конечность* в абсолютной позиции и всегда вводила разъяснительные уточнения; говорилось не просто «конечность» (хотя в оригинале стояло именно *finitude*), но «конечность человеческого бытия» (что действительно так или иначе подразумевалось).

А теперь я делаю попытку легитимировать термин *конечность* как таковой: так, в заглавии соответствующего параграфа заменяю «Аналитика конечности человеческого бытия» (в первом издании перевода) на «Аналитика конечности». А вот еще несколько примеров: «вопрос о человеческом существе, о конечности [раньше в переводе было: «о ко-

нечности его бытия»] ‹…› тем самым приобретают значение и функции философии, но вместе с тем — редукции философии, или контр-философии»; «после Канта вопрос о конечности стал важнее анализа представлений»; «Чем прочнее человек утверждается в центре мира, чем дальше он продвигается в овладении природой, тем сильнее давит на него конечность, тем ближе он подходит к смерти». Итак, работа с термином *finitude* в русском переводе была работой по эмансипации, приведению русского философского слова *конечность* к независимому существованию. Разумеется, пока речь идет об определенной стадии процесса, а не о каком-то закрепившемся результате.

Все это лишь малая часть описания наметившихся изменений. Все эти сдвиги (особенно по автономизации понятий и сохранению авторского синтаксиса) свидетельствуют о том, что в работе над новым изданием перевода несколько меняется вектор соотношений в треугольнике «оригинал — переводчик — читатель». Если в первом варианте раньше в центре был читатель, а язык оригинала подтягивался к языку перевода (т. е. к языку читателя), то теперь мы пытаемся приблизить текст к языку оригинала. Можно сказать, что это означает большее внимание к означающему оригинала.

* * *

Подведем итоги по двум линиям обсуждения. Одна касается предметного содержания книги — проблематики структурализма в осмыслении человеческих явлений. Другая — вопроса о переводе неклассики, которая становится классикой. В своих интервью Фуко, несмотря на некоторые эксцессы отрицания, вызванные идеологически и политически заостренной полемикой, давал очень разумные пояснения насчет того, что такое структурализм, каковы его важнейшие смыслы. С одной стороны, это частный структурализм — плодотворная методология, распространенная в частных науках. С другой стороны, это общая установка в спорах с так называемыми философиями субъективности. Главное — обобщенный (généralisé) философский структурализм: не притязая на конкретную работу в тех или иных областях, но анализируя, по сути, как мы можем сказать, синхронные динамические связи, он подходит к анализу «нашей современности». Потому он и оказывается способен, словами Фуко, давать нам «диагностику настоящего», что собственно и является целью современной философии, которая уже не остается в размышлениях о «вечном».

Словом, продолжим от себя, речь не идет о феномене истории, который уходит вместе с более или менее короткой исторической эпохой. Даже если «структурализм умер», то мысль о структуре не умерла; вне мысли о структуре — и, разумеется, о тех или иных способах выхода за ее пределы — познание в гуманитарных науках вообще невозможно. Весь вопрос в том, какие новые формы примет в будущем эта мысль о структуре: каждое поколение рождает ее заново. В любом случае материал рецепции «Слов и вещей» в советском и постсоветском интеллектуальном пространстве свидетельствует о долгосрочной значимости этого вопроса. Вопрос о «смерти человека» был провокацией, но он остается стимулом к тому, чтобы каждый раз по-новому ставить вопросы о месте человека в мире, о возможностях его познания, о реальных и виртуальных изменениях самого феномена человеческого в современную эпоху.

Отзвуки этих соображений слышны и в сфере вопросов о переводе в разных контекстах культуры. Задача перевода — перевоплотить новые содержания в языковом материале своей культуры. Однако перевод — это не смена одеяний: это процесс, в котором анализ и интерпретация интенсивно переплетаются на всех стадиях, что и делает перевод участником и даже условием возможности современной рефлексии. Размышления об уникальной судьбе «Слов и вещей» на российской почве подталкивают нас к еще одной мысли, которую мне хотелось бы здесь выразить в самом общем виде: нет такой системы, в которой не было бы «щелей». Но если это так, то неизбежное столкновение перевода с теми или иными п р е д е л а м и и г р а н и ц а м и — не только языковыми, но также политическими, социальными, культурными, историческими, терминологическими — не является основанием модного в наши дни вывода о некоей обобщенной непереводимости. Люфт в системе, преодолеваемый жизненной практикой людей, свидетельствует о возможности рождения новых смыслов и о шансе преодоления очевидных и, казалось бы, непреодолимых границ. Сказанное относится не только к области политического, но и вообще — к любой сфере рождения нового.

Литература

Автономова 1972 — *Автономова Н. С.* Концепция «археологического знания» Мишеля Фуко // Вопросы философии. 1972. № 10. С. 142–150.

Автономова 1977 — *Автономова Н. С.* Философские проблемы структурного анализа в гуманитарных науках (критический очерк концепций французского структурализма). М.: Наука, 1977.

Автономова 1987 — *Автономова Н. С.* Этапы идейной эволюции Л. Альтюссера // Современные зарубежные концепции диалектики. Критические очерки / Отв. ред В. А. Лекторский. М.: Наука, 1987. С. 187–234.

Автономова 2001 — *Автономова Н. С.* Фуко // Новая философская энциклопедия: В 4 т. М.: Мысль, 2001. Т. 4. С. 278–280.

Автономова 2008 — *Автономова Н. С.* Познание и перевод. Опыты философии языка. М.: РОССПЭН, 2008.

Автономова 2016 — *Автономова Н. С.* Познание и перевод. Опыты философии языка. 2-е изд., испр. и доп. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016.

Автономова 2010 — *Автономова Н. С.* Фуко // Новая философская энциклопедия: В 4 т. 2-е изд., испр. и доп. М.: Мысль, 2010. Т. 4. С. 278–280.

Автономова 2014 — *Автономова Н. С.* Между «голосом» и «кодом»: встречи и столкновения в коммуникативном пространстве // Проблемы и дискуссии в философии России второй половины XX в.: современный взгляд / Под ред. В. А. Лекторского. М.: РОССПЭН, 2014. С. 313–331.

Автономова 2015 — *Автономова Н. С.* Французские «властители дум» в советском и российском контексте (опыт читателя и переводчика) // Философские науки. 2015. № 9. С. 7–23.

Автономова 2019 — *Автономова Н. С.* Советское чудо: о переводе «Слов и вещей» / Интервью и предисл. Е. Смирновой // Логос. Т. 29. № 2: FOUCAULT vs ФУКО. 2019. С. 151–178.

Грецкий 1984 — *Грецкий М. Н.* Марксистская философия в современной Франции. М.: Изд-во МГУ, 1984.

Кун 1975 — *Кун Т.* Структура научных революций / Пер. с англ. И. З. Налетова. М.: Прогресс, 1975.

Кун 1977 — *Кун Т.* Структура научных революций / Пер. с англ. И. З. Налетова. 2-е изд. М.: Прогресс, 1977.

Мамардашвили 1968 — *Мамардашвили М. К.* Анализ сознания в работах Маркса // Вопросы философии. 1968. № 8. С. 14–25.

Мамардашвили 1970 — *Мамардашвили М. К.* Форма превращенная // Философская энциклопедия: В 5 т. Т. 5. М.: Сов. энциклопедия, 1970. С. 386–389.

Фуко 1977 — *Фуко М.* Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой; Вступ. ст. Н. С. Автономовой. М.: Прогресс, 1977 (2-е изд. СПб.: A-cad, 1994).

Artières et al. 2009 — *Les Mots et les Choses* de Michel Foucault: Regards critiques, 1966–1968 / Ed. par P. Artières et al. Caen: Presses Univ. de Caen; IMEC, 2009.

Avtonomova 2001 — *Avtonomova N*. On the (re)creation of Russian philosophical language // The Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy. Vol. 12. Bowling Green, Ohio: Philosophy Documentation Center; Bowling Green State University, 2001. P. 83–94.

Avtonomova 2019 — *Avtonomova N. S*. Between "voice" and "code": Encounters and clashes in the communication space // Philosophical thought in Russia in the second half of the 20th century: A contemporary view from Russia and abroad / Ed. by V. A. Lektorsky, M. F. Bykova. New York; London, Oxford etc.: Bloomsbury Academic, 2019. P. 261–276.

Foucault 1966 — *Foucault M.* Les mots et les choses: une archéologie des sciences humaines. Paris: Gallimard, 1966.

Foucault 1994a — *Foucault M*. Entretien avec Madeleine Chapsal [1966] // Foucault M. Dits et Ecrits. T. 1. Paris: Gallimard, 1994. P. 513–518.

Foucault 1994b — *Foucault M*. «La philosophie structuraliste permet de diagnostiquer ce qu'est "aujourd'hui"» (Entretien avec G. Fellous) [1967] // Foucault M. Dits et écrits. T. 1. Paris: Gallimard, 1994. P. 580–584.

Kuhn 1962 — *Kuhn T.* The structure of scientific revolutions. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1962.

Kuhn 1970 — *Kuhn T.* The structure of scientific revolutions. 2nd ed., enl. Chicago: Univ. of Chicago Press, 1970.

Sapiro 2018 — *Sapiro G.* What factors determine the international circulation of scholarly books? The example of translations between English and French in the era of globalization // The social and human sciences in global power relations / Ed. by J. Heilbron, G. Sorá, T. Boncourt. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2018. P. 59–94.

Sapiro, Dumont 2016 — *Sapiro G., Dumont L.* La diffusion internationale du structuralisme: entre appropriation et rejet // Résonances des structuralismes / Sous la dir. de J.-F. Bert, J. Lamy. Paris, Editions des archives contemporaines, 2016. P. 123–138.

Smirnova 2012 — *Smirnova E.* Histoire de la traduction des philosophes français en URSS dans les années 1970: Mémoire de Master I Recherche / Collège Universitaire Français de Saint-Pétersbourg. Saint-Pétersbourg, 2012.

Smirnova 2013 — *Smirnova E.* Traduction et circulation des textes philosophiques entre la France et l'Union Soviétique dans les années 1960–1970: Mémoire de Master II Recherche / Universite Paris 7 Denis Diderot. Paris, 2013.

References

Artières, P. et al. (Eds.) (2009). Les Mots et les Choses *de Michel Foucault: Regards critiques, 1966–1968*. Caen: Presses Univ. de Caen; IMEC. (In French).

Avtonomova, N. S. (1972). Kontseptsiia "arkheologicheskogo znaniia" Mishelia Fuko [Michel Foucault's concept of "archeological knowledge"]. *Voprosy filosofii* [Problems of Philosophy]*, 1972*(10), 142–150. (In Russian).

Avtonomova, N. S. (1977). *Filosofskie problemy strukturnogo analiza v gumanitarnykh naukakh (kriticheskii ocherk kontseptsii frantsuzskogo strukturalizma)* [Philosophical problems of structural analysis in the humanities (a critical essay on French structuralism)]. Moscow: Nauka. (In Russian).

Avtonomova, N. S. (1987). Etapy ideinoi evoliutsii L. Altiussera [Stages of L. Althusser's conceptual evolution]. In V. A. Lektorskii (Ed.). *Sovremennye zarubezhnye kontseptsii dialektiki: Kriticheskie ocherki* [Modern foreign conceptions of dialectics: Critical essays], 187–234. Moscow: Nauka. (In Russian).

Avtonomova, N. (2001). On the (re)creation of Russian philosophical language. In *The Proceedings of the Twentieth World Congress of Philosophy* (Vol. 12), 83–94. Bowling Green, Ohio: Philosophy Documentation Center; Bowling Green State University.

Avtonomova, N. S. (2001). Fuko [Foucault]. *Novaia filosofskaia entsiklopediia* [New philosophical encyclopedia] (Vol. 4), 278–280. Moscow: Mysl'. (In Russian).

Avtonomova, N. S. (2008). *Poznanie i perevod. Opyty filosofii iazyka* [Cognition and translation. Experiments in the philosophy of language]. Moscow: ROSSPEN. (In Russian).

Avtonomova, N. S. (2010). Fuko [Foucault]. *Novaia filosofskaia entsiklopediia* [New philosophical encyclopedia], 2nd ed., rev. and enl. (Vol. 4), 278–280. Moscow: Mysl'. (In Russian).

Avtonomova, N. S. (2014). Mezhdu "golosom" i "kodom": vstrechi i stolknoveniia v kommunikativnom prostranstve [Between "voice" and "code": Encounters and clashes in the communication space]. In V. A. Lektorskii (Ed.). *Problemy i diskussii v filosofii Rossii vtoroi poloviny XX v.: sovremennyi vzgliad* [Problems and discussions in Russian philosophy of the second half of the 20th century: A contemporary view], 313–331. Moscow: ROSSPEN. (In Russian).

Avtonomova, N. S. (2015). Frantsuzskie "vlastiteli dum" v sovetskom i russkom kontekste (opyt chitatelia i perevodchika) [The French *maîtres-penseurs* in the Soviet and Russian context (the experience of a reader and translator)]. *Filosofskie nauki* [Philosophical Sciences]*, 2015*(9), 7–23. (In Russian).

Avtonomova, N. S. (2016). *Poznanie i perevod. Opyty filosofii iazyka* [Cognition and translation. Experiments in the philosophy of language], 2nd ed, rev. and enl. Moscow; St. Petersburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ. (In Russian).

Avtonomova, N. S. (2019a). Between "voice" and "code": Encounters and clashes in the communication space. In V. A. Lektorsky, M. F. Bykova (Eds.). *Philosophical thought in Russia in the second half of the 20th century: A contemporary view from Russia and abroad*, 261–276. New York; London; Oxford etc.: Bloomsbury Academic.

Avtonomova, N. (2019b). Sovetskoe chudo: o perevode "Slov i veshchei" [A Soviet miracle: On the translation of *The order of things*]. *Logos, 29*(2): *FOUCAULT vs FUKO*, 151–178. (In Russian).

Foucault, M. (1966). *Les mots et les choses: une archéologie des sciences humaines.* Paris, Gallimard. (In French).

Foucault, M. (1994a). Entretien avec Madeleine Chapsal [1966]. In M. Foucault. *Dits et écrits* (Vol. 1), 513–518. Paris: Gallimard. (In French).

Foucault, M. (1994b). "La philosophie structuraliste permet de diagnostiquer ce qu'est 'aujourd'hui'" (Entretien avec G. Fellous) [1967]. In M. Foucault. *Dits et écrits* (Vol. 1), 580–584. Paris: Gallimard. (In French).

Fuko, M. (1977). *Slova i veshchi. Arkheologiia gumanitarnykh nauk* [Trans. from Foucault, M. (1966). *Les mots et les choses: une archéologie des sciences humaines.* Paris, Gallimard]. Moscow: Progress (2nd ed.: St. Petersburg: A-cad). (In Russian).

Gretskii, M. N. (1984). *Marksistskaia filosofiia v sovremennoi Frantsii* [Marxist philosophy in contemporary France]. Moscow: Izdatel'stvo MGU. (In Russian).

Kuhn, T. (1962). *The structure of scientific revolutions.* Chicago: Univ. of Chicago Press.

Kuhn, T. (1970). *The structure of scientific revolutions.* 2nd ed., enl. Chicago: Univ. of Chicago Press.

Mamardashvili, M. K. (1968). Analiz soznaniia v rabotakh Marksa [Analysis of consciousness in Marx's works]. *Voprosy filosofii* [Problems of Philosophy]*, 1968*(6), 14–25. (In Russian).

Mamardashvili, M. K. (1970). Forma prevrashchennaia [Transformed form]. In *Filosofskaia entsiklopediia* [Philosophical Encyclopedia] (Vol. 5), 386–389. Moscow, Sovetskaia entsiklopediia. (In Russian).

Sapiro, G. (2018). What factors determine the international circulation of scholarly books? The example of translations between English and French in the era of globalization. In J. Heilbron, G. Sorá, T. Boncourt (Eds.). *The social and human sciences in global power relations*, 59–94. Cham; Switzerland: Palgrave Macmillan.

Sapiro, G., Dumont, L. (2016). La diffusion international du structuralisme: entre appropriation et rejet. In J.-F. Bert, J. Lamy (Eds.). *Résonances des structuralismes*, 123–138. Paris: Editions des archives contemporaines. (In French).

Smirnova, E. (2012). *Histoire de la traduction des philosophes français en URSS dans les années 1970* (Mémoire de Master I Recherche [Master's Thesis, Level I], Collège Universitaire Français de Saint-Pétersbourg). St. Petersburg. (In French).

Smirnova, E. (2013). *Traduction et circulation des textes philosophiques entre la France et l'Union Soviétique dans les années 1960–1970* (Mémoire de Master II Recherche [Master's Thesis, Level II], Univ. Paris 7 Denis Diderot). Paris. (In French).

* * *

Информация об авторе

Наталия Сергеевна Автономова
доктор философских наук
главный научный сотрудник,
Сектор теории познания,
Институт философии РАН
Россия, 109240, Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1
Тел.: +7 (495) 697-93-93
ведущий научный сотрудник,
Лаборатория историко-литературных исследований,
Школа актуальных гуманитарных исследований, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
Россия, 119571, Москва, пр-т Вернадского, д. 82
Тел.: +7 (499) 956-96-47
✉ *avtonomovanatalia@gmail.com*

Information about the author

Natalia S. Avtonomova
Dr. Sci. (Philosophy)
Principal Research Associate,
Institute of Philosophy,
Russian Academy of Sciences (RAS)
Russia, 109240, Moscow, Goncharnaya Str., 12, Bld. 1
Tel.: +7 (495) 697-93-93
Leading Researcher,
Laboratory for Historical-Literary Studies
School of Advanced Studies in the Humanities,
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Russia, 119571, Moscow, Prospect Vernadskogo, 82
Tel.: +7 (499) 956-96-47
✉ *avtonomovanatalia@gmail.com*